Рассуждения и похождения Ивана Фролова в отгульный день

Владимир ИЛЮШИН

Владимир Илюшин — благовещенец. В свои 29 лет он автор двух книг «Тихоокеанское шоссе» и «Письма осени». Сегодня мы публикуем одну из новых работ молодого писателя.

Утро Иван Фролов начал, по обыкновению, с завтрака. Плотно поел вареной картошки с сельдями, покурил на кухне да и опять завалился, уважительно и строго соблюдая необычное в будний день безделье. Спал долго и даже как будто сон видел — по стене крупнопанельного дома ползет здоровенная вошь. Ползет себе не спеша, а по ней работяги-строители сажают здоровенным чугунным шаром, который раскачивается на тросе. Садят, садят, а попасть не могут! Вот такой сон. Иван от такой бестолковщины разом проснулся, сел на кровати, свесив ноги в кальсонах, и долго перемаргивал дремоту, недовольно покряхтывая и пошевеливая щеточкой подстриженных рыжих усов, туго соображая — отчего такая пакость приснилась, отчего вошь?

В квартире было солнечно, голо и пыльно. Кукушка, выскочив из ходиков, висящих на беленой стене, поскрипела и спряталась. Иван подтянул часам гирю, чтоб веселей ходили, умылся в ванной, фыркая под ледяной водой как гусь, надел штаны, затянулся ремнем, натер бритую шею «Шипром» и тут стал серьезный и собой довольный.

Белесый голубой воздух висел за оконными стеклами, и в нем стеклянно промелькивала падающая с балконов капель, толсто дымила ТЭЦ, и от градирни шел пар. Нелепая окраина за белым зимним болотом в рыжей щетинке бурьяна сплошь была в печном тумане, и лабиринт частных огородиков терялся из глаз где-то за блестящими на солнце гофрированной жестью складами. Радио передавало народные песни. Иван чуть прибавил громкость, чтоб соседи не скучали, надел шапку, пальто, сапоги и откинул с дверей кованый крюк, который служил заместо цепочки. Запер дверь на ключ за собой и пошел по лестнице вниз, читая надписи на панелях, которые оставляли за собой подростки, собираясь с гитарами по подъездам — скучали зимой ребята в микрорайонной пустыне.

Иван вышел из своего подъезда, ногой прикрыл дверь, на которой тоже было написано мелом нехорошее слово, и встал у дверей, насунув на лоб шапку и сунув правую руку за борт полупальто, так, чтоб большой палец как раз пришелся на пуговицу.

Трое укутанных старушек сидели у подъезда на скамейке, тихонько дыша. Ветхое их дыханье почти не тревожило воздух, и снег под ними не таял, однако лица у старушек были упрямые, и Иван одобрительно крякнул, поощряя бабок в их упорном нежелании помирать и подольше пожить на пенсионную дармовщинку, подумав про себя: «Давай, старые, грей задницы! Жми из государства копейку, нехай покряхтит, пока войны нету!». Мысль его развеселила балалаечным своим похабством, и Иван стал дальше обозревать местность. На утоптанном снежном пустыре голели железные ребра всяких спортивных снарядов, а за ними, у переполненных мусорных баков, грелись на солнышке коты и кошки — целая стая. Кругом в весеннем тумане стояли блочные пятиэтажные дома, по балконам болталось женское белье и простыни, а чуть сбоку, с бетонной стоянки, тащились туповатые морды частных машин, и Иван, поведя на них глазами, с неудовольствием отвернулся, так как ничего частного не любил.

И еще стояли дома, вылезая в прогалы углами и заслоняя друг друга, а меж ними пустынно белел снег, и вся унылая городская плоскость падала в густое замерзшее небо, и в небе том по всему горизонту торчали разновысокие трубы, и из труб шел дым — склоняясь в одну сторону, на юг.

Иван обогнул угол дома, желтый от замерзшей собачьей мочи, и встал на перекрестке, супя брови и ожидая внутреннего соображения, чтобы его надоумило и повернуло — или в ту сторону идти, или в другую; от перекрестка в обе стороны шли обледенелые тротуары, в одной стороне у магазина колготилась негустая толпа, бегали люди, в разных направлениях пересекая площадь, а в другой стороне виднелись фигуры редких прохожих, теряясь в белесом пару, который киселем стоял над асфальтом; сам снег чудился разжиженным, мокрым, в нем там и тут чернели обтаявшие дыры человеческих и собачьих следов, а по улице перед Иваном ехали горбатые самосвалы, подскакивая и громыхая, перевалились с боку на бок автобусы с ледяными подпалинами у выхлопных труб и всякая разная техника. Прошла, расставив руки, широченная, как печь, толстая баба, огромный зад ее под пальто ворочался, как медведь в берлоге, казалось, расстегни — пар ударит, и Иван уважительно проводил ее глазами, подумав одобрительно: «Ишь ведь, гладкая! И с чего, скажи? Народ хитрый пошел, из воздуха кашу варит, из природы соки прямиком сосет, что тебе копченая колбаса!». Следом за толстухой, которая несла себя посередке тротуара, никому не уступая дороги и еще прихватывая пространства растопыренными руками, пробежал районный дурачок Алеша с воздушным шариком и обдал Ивана бессмысленным смехом, пахучим безумием грязного зверя.

— Салик! — кричал Алеша, заливаясь смехом. — Салик большой!

И убежал, хлопая расстегнутыми войлочными ботами, мотая ушами цигейковой шапки с завязками, обогнул толстуху, опять закричал, шарик болтался за ним на веревочке.

Иван поднял голову, посмотрел на ровные ряды окон, поискал, не будет ли чего хорошего, но ничего хорошего не было видно, так, всякая дрянь — все то же белье, черные трусы мужские, детские ползунки да пожелтевшие, с Нового года, елки.

Тут Иван еще сильнее насупился, сдвинул брови и даже засопел, тужась и ожидая — будет ли в голове мысль? Мысли вроде и были, но все больше никчемные и праздные, и, как всегда, началось за ухом хитрое стучание и подмигивание, подталкивая в определенную сторону. Однако Иван не дал себя с ходу взять, сморщил брови, зубы сжал и до того напрягся, что самому казалось — вот-вот пар пойдет, но так ни одного ангела и не пролетело, а маленький настырный бесенок все подталкивал, похихикивал и даже как будто щекотал, отчего по всему телу загодя, в предвкушении шла шалая истома, и пупырышки зудели в пятках. Иван задрал глаза в небо, глубоко и печально вздохнув, увидел синеву да и только: сама себе синева без всякого разумного предела, а в ней летел, постепенно уменьшаясь в размерах и побалтывая блескучей точечкой передатчика, метеозонд.

— Тьфу ты, пропасть! — от души сплюнул в сердцах Иван и, отбросив всякие сомнения, решительно и недовольно зашагал к магазину, про себя горячо рассуждая: «И вот что за наказание, в самом деле? Ведь нет чтоб в театр там сходить, в кино, или просто культурно погулять... По прошпекту... А то к Дому Советов сходить... Или, допустим, представить другую общественно-полезную деталь... Нет! (Тут он опять сплюнул на снег). Так прямо и несут ноги за ней. И ведь скажи на милость, раскинь умом. Учат же нашего брата и внушают. И вроде все сознательные и все — «за»! Однако, как только предполагаемое обстоятельство, так мы ее... Неужели же мы коммунизм не построим?». От этих печальных мыслей Иван на ходу опять вздохнул, привычно нащупывая в брючном кармане кошелек, — на всякий случай, а то, гляди, сперли — и, зажав большим пальцем ноздрю, культурно высморкался за бровку тротуара, а потом со второй ноздрей повторил операцию и задрал глаза на небо — на зонд посмотреть, высоко ли улетел. В голубом бессмысленном пространстве было совсем голо, только солнце висело к чему-то. Воздух вокруг него подтаял, расплылся белесым парным туманом, и само солнце в нем расплылось яичным желтком, стало ленивым и нечетким, едва пробиваясь маслянистым слабым свечением сквозь испарения, которые горбами густо стояли над крышами, а потом, выше, редели. Между солнцем и крышами было много пустого пространства, ничем не заполненного, бездельного и непонятного, а уж потом начинались трубы, да ТЭЦ со своими галереями и постройками, и чахлая поросль частных домишек, и ровные ряды блочных домов, которые нравились Ивану своим белым однообразием и одинаковостью и еще не сказать чем.

У магазина на площади было густо народа, все ходили взад да вперед, и тут же бегал дурачок Алеша, хлопая ботами и все что-то лопоча со счастливым своим детским смехом. Чуть поодаль стояла милицейская машина с решетками на окнах.

Иван вошел в стеклянные двери магазина и сразу встал в недлинную тихую очередь, выцарапывая из штанов кошелек и поводя глазами по народу — знакомых отыскивал. Никого из знакомых не было, все стояли потрепанные мужики с худыми печальными лицами, на которых истаивала похмельная стыдливая святость. И глаза у всех были вроде маленько испуганные, потому что на стенах висели плакаты нехорошего содержания — то черти пьяницу вилами колят, то какой-то строгий мужчина пальцем показывает и надпись: «Ты! Брось пить!». И еще надпись: «Спиртное пить — здоровье губить. Лучше денег накопить да машину купить!».Стишок Ивану понравился, и он прочел его еще раза два, шевеля для острастки ума губами, чтоб заучить. И про себя размышлял: «А ведь неглупый человек сочинил! Крепко сказано! Ведь вправду, если разобраться, сколько мы в глотку вливаем, так это... А вот взять и вправду всем бросить, или так: что решил пропить — откладывай, а потом — в фонд мира, глядишь, или бассейн какой детишкам... В самую точку угодил, ежели их все накопить, так можно, например, пароход построить. Вот собраться и сказать: братцы, мол, давайте зададимся задачей, сделаем родному правительству подарок, только так, чтоб никто ни-ни! чтобы без обману, ни капли! И друг друга держать. Потому что наш брат, он что — он пример любит, а если все разом на это дело плюнут, ну вроде и не плюнут, вроде и пьют, а на самом деле не пьют! Вот так вот, как потянуло выпить, идешь в магазин, выбиваешь чек, а на самом деле тебе говорят, что, дескать, это на пароход, а водки нету! Чтоб вроде как хитрость, тогда же мы ее, заразу, обманем. Об-ма-а-а-нем, если сообща. И главно, что я вроде тоже знаю, но как бы не догадываюсь...».

И еще бы думал, но тут перед Иваном возникла никелированная морда кассового аппарата и он, прервавшись, торопливо полез в кошель. Печальная женщина в белом халате, из-под которого выглядывал воротник пальто, не глядя на Ивана, приняла у него деньги, отстучала по клавишам и выбросила в блюдце чек, Иван взял его и отошел в другую очередь, снова печально вздохнув насчет того, что натуру проклятую не переборо́ть. Потому что пароход-то пароходом, пароход построить — раз плюнуть, да ведь мужики все равно найдут, и без магазина жидкости всякие жрать будут, и пароход построят, и пить не перестанут, уж такой упорный народ! Под татарами триста лет терпели, неужели ж без хмеля утерпят? От безнадежности этой совсем стало грустно, но, покинув магазин с двумя бутылками дешевого вина и выйдя в солнечный ленивый полдень, Иван сразу про грусть забыл, потому что опять надо было соображать — куда. И глянув в сторону кочегарки, над которой тянулся из трубы длинный траурный шлейф, зашагал по скрипучему снегу, покряхтывая, поплевывая и придерживая под пальто бутылки, засунутые в карманы штанов.

У входа в кочегарку свежо парила гора шлака, перемешанного с золой, уголь у ям от идущего изнутри тепла был в инее, и из-за дверей несся монотонный гул работающих водяных насосов.

Иван распахнул дверь и вошел в чадную угарную полутьму. Три котла пылали вовсю, чадя из щелей сизым дымом, который едва-едва вытягивало работающим вентилятором. Сбоку от двери дрожали от напряжения насосы, подрагивали стрелки манометров, пыльные трубы разного диаметра шли по стенам и над головой, кочегар — длинный, худой, в грязной спецовке и матерчатом шлеме—шуровал в топке, открыв дверцу, из которой било слепяще-белым отсветом взъерошенного воздушным дутьем пламени. Он повернулся на стук двери, обратив к Ивану свое длинное закопченное лицо, на котором неуловимо улавливалось лошадиное слабоумие и, бросив шуровку, со страдальческим тихим недоумением уставился на Ивана, точно ожидая приказания или казни. А Иван, едва его приметив, сразу разочаровался — незнакомый был человек, видимо, новенького приняли, однако и уходить из тепла не хотелось. Кочегарки Иван любил за технику и огонь, сам всю жизнь работал плотником, а тут все гудит, шумит, дымит, воду качает, и главное — дармовое тепло, тут человек и работает, тут и греется — завидная работа!

Иван привычно уселся к столу, сдув с табуретки зольную пыль, и привычно достал из стола железную кружку — не раз тут сидел. Кочегар подошел и встал рядом, все так же вопросительно глядя и переминаясь с ноги на ногу, худые плечи его остро выпирали из спецовки.

— Иванов-то, что, никак заболел? — спросил Иван кочегара, невольно повышая голос, чтобы перекричать моторный гул. — Ты-то за него, что ли?

Кочегар торопливо закивал, все так же стоя и переминаясь, при этом он все нетерпеливо оглядывался на печь, точно собираясь уйти и не зная — можно ли.

«И что за человек?» — удивился про себя Иван, а кочегару сказал, поощрительно улыбнувшись, чтоб не боялся:

— Я у тебя тут посижу, выпью маленько!

Кочегар торопливо закивал и убежал к печи, вскидывая голенастые худые ноги, на которых широкие штаны складывались складками при каждом шаге.

«И что за человек?» — опять подумал Иван, наблюдая за кочегаром и между делом скручивая с горлышка пробку и наливая в кружку вина. — И то сказать, не человек даже, а просто существо! А может, больной?».

И, хакнув, выпил всю кружку разом, двигая кадыком. А выпив, утерся, посопел, сплюнул и полез за папиросой, с интересом разглядывая кочегарское хозяйство и всякие прочие механизмы — уж сколько раз видел, а все интересно.

Кочегар меж тем кончил шуровать, закрыл топку и пробежал мимо с лопатой, выскочил на улицу и скоро там загремел углем, сталкивая его в яму — на жестяный лист, перед которым была в стене дыра, — уголь густо посыпался и черно запылил.

«Эх, мать твою перемать!» — бесцельно подумал Иван, прищуривая глаз от папиросного дыма, и пожалел про Иванова — вот сейчас бы выпили да поговорили, а с этим пока познакомишься! Да пока сойдешься, а на такую бестолковщину и вина тратить жаль. Одному пить, что ли?

Хмель стал понемногу брать Ивана. Он расстегнул пальто и пояс на брюках чуть распустил, чтоб брюхом дышать свободно. Налил себе еще кружку и выпил. И опять покряхтел, посопел со вкусом, приборматывая что-то бессмысленное, вроде: «Да... ж... вот же, понимаешь... так, ну!».

Трубы над головой дрожали от напора, горели лампочки под закопченным потолком, в тусклые запыленные окна едва-едва, конусами, пробивался свет. Пустив в двери холодного пару, вскочил кочегар и скорым бегом-шагом мелькнул мимо, таща за собой подпрыгивающую и полязгивающую лопату, закосив на Ивана лицом, на котором опять засквозила жалобная лошадиная глупость. Пробежал к крайней печи, с лязгом распахнул заслонку, посмотрел внутрь и принялся забрасывать печь, животом налегая на лопату. Худое его тело едва не поломалось, и Ивану даже жалко его стало, кочегара, во всех его движениях было столь явное детское слабоумие и полная незащищенность. Иван подумал, подумал, налил в кружку остатки портвейна и накрыл ее папиросной пачкой, чтоб пыль не летела. Кочегар, натужась и вздрагивая коленками, все швырял и швырял, потом остановился, опять заглянул в печь, захлопнул заслонку и, подойдя к рубильнику на стене, включил его. Взвыл дутьевой вентилятор, из печи дануло дымом и искрами, и сизая слоистая пелена повисла в котельной.

— Вот черт, навонял, подождать не мог! — сказал сердито Иван и позвал кочегара: — Эй, ты, иди сюда, выпей!

Тот подбежал и вопросительно уставился на Ивана большими карими глазами.

— Выпей, говорю! — сказал Иван, показывая на кружку и поражаясь несуразному человеку.

Кочегар взглянул, взял кружку, разом глотнул, двинув грязным кадыком, постоял с пустой кружкой, все так же вопросительно глядя, поставил ее на стол и убежал.

— Вот же черт, и не закусил даже! — заворчал Иван с обидой. — И что за человек, не человек, а существо! И спасибо не сказал. Вот же гладкий, черт!

Обидело, что кочегар так к вину отнесся, махнул разом и убежал, будто и не вино, а вода.

Кочегар уже шуровал следующую печь, близко наклоняясь к заслонке, и когда заглядывал в жерло печи, лицо его становилось осмысленным и радостным, как видно — огонь тянул человека.

Иван еще посидел, покурил, скучая, и пошел прочь, плотно затворив за собой двери; кочегар, несмотря на слабоумие, в его глазах приобрел свое достоинство, так что Иван хоть про себя и ворчал на него, но больше для острастки — у этого человека, видимо, были свои, сложные отношения с огнем. А сложные отношения и понятия Иван уважал — сам плотником тридцать лет, считай, какой дурак так скажет, что это просто, а дерево человека тоже тянет. Так что он думал о кочегаре даже с уважением, как о человеке, имеющем свое лицо, пускай и слабоумное. Но видишь же, черт какой — выпил и не закусил!

На улице опять глянуло в глаза бессмысленное пустое тихое небо, и Иван постоял, сдвинув на затылок шапку, расставив носы сапог и сунув правую руку за борт пальто. Штаны оттягивала вторая бутылка, и с ней как-то было проще, вроде как бы все свое носишь с собой, куда захочешь, туда и пойдешь.

На задворках котельной играли в войну ребятишки, а дальше была оградка школы, за которой пустели футбольные ворота без сетки, и в том проеме чернели лесом гребни невысоких сопок, и улица уходила прямо туда, в лес, а на кой, спрашивается, ляд? Иван постоял и подумал, но ничего в голову не влезло.

Дома все так же ровно стояли на плоском снегу, и куда, спрашивается, идти? В столовую разве, да оттуда попрут, разве что в уголок сесть да под столом втихую цедить, но ведь тоже коситься будут, а куда взрослому человеку стыд девать? Вот же морока, туды ее мать — сам не знаешь, куда себя деть, и пропади они пропадом, все выходные вместе с праздниками!

Иван оглянулся на кочегарку, из трубы которой ровными клубами выталкивало кверху дым, и еще раз выругал кочегара, буркнув:

— Ишь, черт, и ведь не отступит от печки! Службу блюдет, сукин сын!

От ругательства в воздухе осталось слаборозовое плоское дрожание, уплыло, и дикий смысл чистого воздуха ни с того ни с сего вдруг открылся Ивану, он поморгал, пережидая, потом для острастки высморкался, подтянул под пальто штаны с бутылкой в кармане и зашагал прочь, врозь ставя носы сапог по скрипучему снегу. За забором открылась пустошь и каркас нового дома с железным журавлем подъемного крана, на котором болтался трос с крюком. А дальше еще пошел забор из плит, и ничего за ним видно не было, но Иван знал, что там, и пошел, пошел вдоль забора, перебираясь через заснеженные канавы и горы взрытой заледенелой земли, и так еще интереснее было, чем по ровному ходить — по ровному-то что! По ровному каждый может, а вот когда кругом кучи, да когда взопреешь, и пар из тебя ударит, вот тогда ходьба, тогда и поговорить есть про что! А по бетонным плитам часто красовалось все то же трехзначное татарское слово, написанное то черным, то красным, то синим. Ивану подумалось: отчего это ни одной стены чистой не оставят? Подумал, подумал и решил, что со страху! Среди всякой техники жить человеку боязно и тоскливо, а как понапишет кругом себя ругательств — уже веселей! Где слово это увидит — считай, дома! Простой человек, он ничего не боится, если где родное дремучее слово увидит!

Забор скоро кончился, открылись ворота, внутри — ровный, уезженный снег, машины, вагончики: база. Из окошечка проходной выглянуло внимательное старушечье личико, и Иван слегка насупил физиономию, чтоб не задержали. Но личико высунулось и тут же спряталось: дескать, я тебя не видела, и ты меня не видел, и иди себе с богом, а показавшаяся из будки собака зевнула на мороз и тоже спряталась — не разглядела в Иване вора.

На всем пространстве базы было пустынно, только у складов возились, загружая машину, грузчики. Иван прошел мимо и по закуткам, проходам меж штабелей и тюков протиснулся в самый было угол, где стоял обитый железом вагончик слесарной мастерской, и заглянул в окошко. Там, внутри, на топчане, заваленном засаленными телогрейками, накрыв лицо шапкой, спал человек в спецовке, ватных штанах и валенках, а на тисках дымилась папироска — видать, только лег. Иван ухмыльнулся в усы, прошел к дверям, тихонько потянул, втиснулся в махорочное, мазутное тепло и, прикрыв за собой двери, вовсю рявкнул:

— Кулибин! Спишь, едрена мать!

Человек на топчане дрогнул было, прервав храп, потом рукой подвинул на лице шапку и, открыв синий, со слезой, моргающий глаз, вокруг которого густо лежали морщины, густо сказал Ивану в ответ, послав его туда, куда уйти и так было невозможно, да и куда идти с теплА?

Иван, посмеиваясь, присел на стул у верстака, посмотрел на фотографию Сталина, прикнопленную к фанерной стене, и вздохнул. Жалко было будить человека, да куда деваться?

— Это ты, Иван? — спросил Кулибин из-под шапки и закашлялся.

— Я! — сказал Иван. — А ты чего вздумал в рабочий день спать?

— Коммунизма дожидаю, — ответил слесарь из-под шапки, прервав кашель.

— И то дело! Ну давай тогда со скуки выпьем, а то так и бока отлежишь, дожидаючи! — посмеялся Иван, радуясь затейливому уму Кулибина. Вот же человек, никогда слово в пар не спустит!

Кулибин, услыхав про выпивку, опять отодвинул с глаза шапку, вытянувшись лицом, проводил взглядом бутылку, которую Иван, достав из штанов, поставил на верстак, и, сбросив с себя телогрейки, сел на топчане, морщась и помаргивая, и все время краем глаза не выпуская бутылку на верстаке из поля зрения.

— Кружку давай, дьявол! — гаркнул на него Иван, скусив пробку, и Кулибин, пошарив, достал из аптечки стакан.

— Да корку хоть какую, дьявол, чево ж рукава жевать в тепле, — опять гаркнул Иван, веселея и распираясь изнутри взбаламученным от предвкушения воздухом.

— Эх, мать-перемать... — стал бормотать Кулибин, стоя и не спуская глаз с бутылки, задвигал шапку, то на лоб подвинет, то со лба, лоб наморщил, глазами заморгал и весь перекосился — сразу видно было, как мучительно размышляет человек. Потом хлопнул шапкой об пол, развел руками и, сказав: «А-а-а! Пропадай, душа!», достал из шкафчика, покопавшись в тряпье, полиэтиленовую бутыль, в которой бултыхалась синяя жидкость.

— До праздника хотел додержать! — пояснил Кулибин, лаская бутыль по прямым уголкам грязной рукой. — До Дня Советской Армии, уж, думаю, неделю потерплю, не согрешу, но разве ж с одного портвейна грязь с души сойдеть? Это ж себя мучить, на нее на одну смотреть! А ты, Иван, бес, а не человек, ведь теперь мы напьемся!

— Ты коммунизма дожидаешь? — спросил Иван, морща усы и сдерживая внутреннее движение в желудке, который от одного вида синей бутыли задвигался внутри и заворочался, словно намереваясь выскочить из организма. — Дожидаешь, или что?

— Я-то ладно, — сказал Кулибин, — я что! А вот некоторые пьют и не дожидают — вот это и есть позор и разложение.

— Наливай, черт! — крикнул Иван, сопя и отворачиваясь, — или ночевать тут будем? Я, небось, в отгуле, чтоб тут с тобой трезвым сидеть!

Перед носом его в грязной пятерне Кулибина замаячил стакан, в котором до половины мелко подрагивала синяя жидкость. Иван взял стакан, перестал дышать и сопеть, поднес стакан ко рту и тут же отвернулся, рыгнув и скривившись.

— На вино плохо пойдет, — рассуждал Кулибин, кроша в пальцах луковицу и услужливо посыпая солью горбушку хлеба, — на вино он всегда плохо ложится, но ты представь, что ты как бы не ты, а о н о!

— И то! — сказал Иван, про себя удивившись хитрости, и точно — представил, а потом разом вылил стакан прямиком в глотку и тут дышать перестал, надувшись и пережидая ошеломление организма.

— Вот и ладно, вот и хорошо, — приговаривал Кулибин, наливая себе в освободившийся стакан и тоже морщась и отворачиваясь, катая в горле кадык, — его, главное, внутрь загнать, а уж там-то он заблудится, в темноте, да дороги и не найдет. Какого черта в себе носим, а, Иван, что нам бы стекло жрать?!

— Пей давай, стакан уж тоскует! — заорал на него Иван, мучительно морщась и моргая — отрыгивалось вонюче, и он боялся, как бы не вернулось, а тут сукин сын Кулибин еще стакан перед носом няньчит!

— О! — сказал Кулибин, отнимая от губ пустой стакан, и резко, разом покраснел, аж нос у него засветился.

Ивану разом полегчало и он захохотал, а Кулибин, роняя слезу, замотал башкой, затопал валенком по шапке, скривив лицо, торопливо захрустел луком, прожевал, сплевывая и матерясь, потянул дыма из папироски, отдышался и сипло сказал:

— Ну все. Одолели! Теперь он у нас водой польется и не пикнет!

— Ну, давай тогда еще! — разохстился сразу Иван, чувствуя, как набухает голова и от этого разбухания веселея. — Да наливай, дьявол, всклень, чего зря горло полоскать!

И Кулибин опять налил, уже полный. Иван махнул стакан, пожевал корку, кривясь и рыгая, посмотрел, как Кулибин цедит «синявку» сквозь зубы, содрогаясь, и головой покрутил в табачном тумане — ты гляди, а ничего-о-о-о...

И вот уже сидели за верстаком, посунувшись друг к другу красными носами, и Кулибин, водя пальцем в воздухе, говорил:

— У меня, Ваня, идея простая, и путь мой прямой, меня абок не свернешь, ни-ни!

— Так ты что, против порядка? — спрашивал его Иван, держа за пуговицу. — Скажи вот мне в глаза! Мне! — и бил себя кулаком в грудь.

— Я думаю, всякая мысль должна для человека быть щелчком! — отвечал Кулибин.

— Но ты за порядок или нет?

— Да! — подумав, начал кивать Кулибин.

— Тогда наливай...

— Нет, ты погоди... Ты гляди, что хотят! Правду. Мы все за правду! А ты сделай так, чтобы и правда была, и порядку было, и чтоб мне было хо-ро-шо! Ты сделай, сделай! Ты сделай, чтоб нам правда ноздрю не свербила, а то, что против порядка — это, я скажу, вещь вредная-я! Понял ты мою мысль? Понял?

Иван как ни тужился — только багровел и ни хрена понять не мог — уж таков Кулибин, политикан! А тот заливался:

— Потому что мы кто? Кто? Ты да я. Мы — народ! А зачем нам правда? Ну вот, ты дурак, да я дурак, так что, про это кричать? И какой у нас будет порядок после этого? Ха!

Кулибин вроде уже и забыл про Ивана и доказывал все какому-то неведомому оппоненту, и пальцем в угол тыкал, и смотрел туда же, а Иван тужился, тужился, пустил злого духа и как-то разом обмяк и потянуло курить, а Кулибин еще пуще понес: — Ха! Ты нам сперва поклонись, ты народу сперва поклонись и простым будь (он встал и, сделав строгое лицо, поклонился стенке, справно вывернув бровь, и опять сел), ты покажи народу уважение, а потом хоть секи! А иначе что? Ина-а-а-аче! (Кулибин затряс пальцем). Иначе материализм не потерпит!

— Ладно, — встрял Иван, — а как насчет Соединенных Штатов?

— А ты их видел? — спросил Кулибин.

— Кого?

— Эти штаты.

— Нет.

— Откуда ж ты взял, что они есть?

— Думаешь, дурят народ?

— Дурят! Ой, дурят нашего брата! Нету их, Ваня, одна идея, а на самом деле — пески да пески... — Кулибин даже заплакал, уронив голову на верстак.

— Кто тебе сказал?! — Иван за волосы поднял его голову и нагнулся, чтоб посмотреть в глаза.

— Поп, — сказал Кулибин, — поп на пасху сказал, а он партейный, ему верить можно!

Иван некоторое время ошеломленно смотрел на него, потом отпустил голову Кулибина и гулко захохотал:

— Ха-ха-ха! Ой, с-с-с-сукин же ты сын, вот взял и целую державу закрыл, а!

Кулибин посмотрел на него немыми вытаращенными глазами, тяжело дыша, икнул и лег щекой на верстак.

Иван тоже был здорово пьян — уже и портвейн весь выпили, а стеклоочистителя только на два пальца осталось, — но еще держался, посидел, покурил, потом вылил в стакан остатки «синявки», подумал, подумал, пить не стал, а оставил на верстаке, прикрыв бумажкой, и, кряхтя, перетащил Кулибина на топчан и прикрыл телогрейкой, — пусть себе спит человек до конца рабочего дня.

На улице сразу обдало холодком ранних сумерек, и голова малость посвежела. Иван постоял, умылся снегом и так, расстегнутый, краснорожий, пошел с базы, где по-прежнему ни души не было видно — то ли работают люди, то ли все вымерли, аж ужас берет. Из проходной опять выглянуло в окошко стертое старушечье лицо и спряталось.

За воротами во все небо лежала густеющая тьма, ее подпирали плоские крыши, и уже много окон горело там и тут, а на заборе рядом чернело все то же татарское слово; не понять было — то ли оно и раньше было здесь, то ли уже успели написать. Иван поднял голову посмотреть — не написано ли чего на небе, но там уже сплошь тьма царила и дышало холодом, а низкие сопки, прикрытые тьмой, лежали рядом, и от них брала тоска.

(Окончание в следующем номере).

ак 09.09.89.

В Амурском отделении Хабаровского книжного издательства готовится к выходу в печать сборник «Приамурье мое». Сегодня мы предлагаем подборку стихотворений — малую часть из вошедшего в сборник.

О. Суриков

КОНКУРС КРАСОТЫ

Аплодисменты, крики
и цветы —
Идет в столице конкурс
красоты.
Участницы —
в купальниках и без,
Ведущий объявляет
рост и вес,
Цвет глаз, размеры
бедер и груди.
Все, милая, свободна, —
проходи...
Но где-то я подобное
встречал...
Я помню: так же вот
мужик кричал
И называл упитанность
и масть,
Продажа-купля весело
велась,
Был глуповат товар,
зато здоров...
Ах, да — сдавал тогда
совхоз коров...

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ

Возле дурно пахнущего
люка
С тихою собачьею тоской
Мертвого щенка лизала
сука
В глухоте гремящей
городской...
Мимо — к расписаниям
вокзалов,
В тишь «читалок»,
в грохот дискотек, —
Проносились
интеллектуалы,
Их Самодовольство —
Человек...
Он был лучше всех,
ее детеныш,
Лаял звонче всех,
всех веселей,
Но нашел собачий
несмышленыш
Смерть свою под лаком
«Жигулей»...
Суета гуманнейшего
века,
Человечность мчится
вихрем, вскачь.
Нет среди прохожих
человека,
Кто услышал бы собачий
плач.
Глушит этот плач
цивилизация
Трелями трамвайного
звонка.
...Возле люка
горканализации
Лижет сука
мертвого щенка.

В. Рассадин

СОАВТОРЫ

Кто был заказчик,
кто творец?
Он нам подыгрывал
в желанье
иметь чистейший
образец
почти божественного
званья.
А мы старались
ублажать
в нем жажду славы
и вождизма,
стремясь быстрее
добежать
до светлых далей
коммунизма.
Так сотворив
его портрет,
не смели вытащить
из рамы
и, поклоняясь
столько лет,
стояли нищими у храма.
Его призывы в бой
вели...
Сейчас глядим сквозь
призму боли
и столбенеем: все бои
шли вопреки той
черной воле.
Так часто — умная
толпа,
сперва всемирная
задира,
жалка вдруг станет
и глупа,
вновь сотворив себе
кумира.

К. Ковалёнок

В. И.

Разучившись читать
по ночному стеклу
и воде,
заползающей в комнату
запахом пойманной
рыбы,
ты сидишь на ветвях
своих строк,
обращающих в глыбы
то, что было когда-то,
а ныне не видно нигде.
Ты на краешке стула
устал и немного погиб.
Наподобие глаза,
слагаются в пеструю
ленту
заводные слова. Голова,
подчиняясь моменту,
на небесных губах
завершает кленовый
изгиб.
Пьяный лоцман оставил
колоду бутылочных
мелей.
Карта пропита снова —
и ты на глубокой
мели.
Сны со стапелей сходят,
как радужные корабли.
Ты бы с ними уплыл,
если б руки того
захотели.
Освещается сад
перекатный ладонью
дарящей;
равнодушная скатерть
полна ядовитых даров,
но на стрелках,
хранящих твой путь
от осенних ветров,
ты нашел свой
ночующий дом
и поверил, что дом
настоящий.

Рассуждения и похождения Ивана Фролова в отгульный день

Владимир ИЛЮШИН

«К Аннушке теперь, что ли, — подумал Иван, пошатываясь, — или к Аннушке посля?». Думал, думал, но так ничего и не придумал и пошел к Аннушке. Аннушкой звали его хорошую знакомую, к которой Иван раз в неделю да наведывался. Она была вдовая, полная, тихая, работала прачкой и нравилась Ивану этим. Этих, что по стройкам в заляпанных штанах бегают и матерятся, Иван не любил, а у Аннушки было покойно, чисто, занавески, бражка, да и сама, как пыхнет, сконфузившись, так сердце и мле-ет!

У Аннушки по какому-то стечению обстоятельств был дома телефон, и она все говорила: «Ты мне, Ваня, звони...». Хотела, чтоб звонили, а то у ее знакомых, как назло, ни у одного телефонов не стояло, и что, спрашивается, делать, как аппарат использовать? — скучала женщина при виде телефона. Но Иван телефонов не любил, а по правде так и опасался и всегда говорил: «А чего я две копейки тратить буду, когда мне до тебя ходьбы пять минут!». На самом деле просто не хотел бабе потачку давать: вот так поговоришь с ней за глаза, она возьмет и осмелеет. А когда с глазу на глаз — совсем иное дело, не хочет принять — а попробуй-ка не прими! Совсем иное дело!

Окна горели навзрыд и справа и слева — куда зашел? — понизу тускло дотлевал белым снежок, какие-то были кругом заборы, ямы, и непонятно откуда взявшейся злостью замутило голову. Иван встал и, покачиваясь, начал материться. Матерился бестолково и не понять — зачем? Душа потребовала, скрутило ее в дичайшей тоске. Откуда злость, почему тоска? Да хрен его знает! То, что один и с женой пять лет как развелся — понятно. Что дети разъехались — понятно, и что деть себя некуда, хоть бы не видеть сроду ни выходных, ни отгулов — тоже ясно. Но откуда такая тоска-то, господи! Почему так темно? Ночь это или сплошной мрак настал? Мрак непроглядный, морозный, а тут сопки чернеются и в сопках — волки у-у-у-у! И небо качается взад-вперед, и душа стонет и плачет и изводит себя в татарском мате, и на качающемся небе чудится написанное мелом нехорошее слово, а дорога-то — в лес, в лес, а в лесу — волки... И время куда-то делось и ушло, что такое, как понять, и самому охота завыть, глядя на толстый дым из трубы ТЭЦ, завыть, или вцепиться кому-нибудь в глотку. Ну ладно... ладно... все...

Маленько откатило, Иван постоял, покачиваясь, подышал, зачерпнул из-под ног снега, потер лицо, на лице снег сразу стаял и тоненько засочилось по щекам, и мороз стал щеки хватать. Иван даже закряхтел, вытирая ладонью лицо — хо-ро-шо! будто и не пил. И пошел опять, между домами, и, хотя плохо соображал, ноги куда-то сами несли, сворачивали, глянь, уж в подъезд вошли и вот по лестнице стали подниматься — вот удивляйся и руками разводи непостижимой человеческой натуре — каким нюхом она помнит все ягодные места?

Пальцы надавили на кнопку звонка, за дверями мягко проскакали тапочки, глазок закрылся, и Иван прижал его пальцем. Тут же скрежетнул замок, и из открывшихся дверей на него пугливо заполыхало:

— Ва-а-аня! Пришел! А я все глаза проглядела! Ты что весь красный? Или выпил?

Полыханье заметалось по комнатушке, чего-то там убирая и прибирая, а Иван, стягивая сапог и покряхтывая, спросил:

— Ты вот что... это... бражку-то ставила?

— Ой, ставила, Ваня, ставила!

— Ну так давай ее на стол!

— Ой, Ваня, или ты поморозился весь, давай я тебе уши-то ототру!

— Ототрешь, погоди... Ты дай чего-нибудь закусить, а то я что-то... это... пропади они пропадом, отгулы!

Он прошел на кухню в носках и сел к столу, с удовольствием потянув в себя пахучий слабый воздух. Женщиной пахло, уютом.

Пришла Аннушка и поставила на стол трехлитровую банку с мутной брагой. Сама пристроилась на краешке стула и заполыхала! В глазах жалость и глупость, а сама аж трепещет. «У-у-у-у! Бабы...» — подумал Иван и, ухмыльнувшись, легонько ее шлепнул, ласково так, и сказал:

— Ладно, ты иди стели постелю, а то сколько мы с тобой вожжаться будем, уж на улице темно!

Уже потом, когда Иван в кальсонах сидел на кровати и курил, выпуская в темноту дым, Аннушка его спросила:

— А что, Ваня, будет война или не будет?

У нее сын в армии служил, и сильно переживала женщина.

— Не-е... — сказал Иван, подумав, — не будет!

— А я мыла тридцать пачек купила! — сказала Аннушка виновато. Гляжу, бабы берут, ну и я.

— Эх, вы, куропатки! — захохотал Иван. — Куда вам столько мыла? Вы ж экономику подрываете! Расхватаете, а потом враги скажут, что у нас, дескать, мыла нету!

— Так не будет, что ли? — с сомнением переспросила Аннушка, тихонько зевая и прикрывая ладошкой рот. — А если этот, ихний президент, скажет, что у нас империя и надо, мол, их газом отравить, как же мы тогда без мыла?

— Это политическая вещь! — сказал Иван и стал штаны одевать.

...Он стоял на незнакомой улице, вцепившись обеими руками в железный столбик, и не помнил, как здесь очутился, и шапки почему-то на голове не было: уши мерзли, а волосы на голове стояли ледяным колом. Заиндевевшие троллейбусные провода качались, словно по ним кто-то пробежал, какие-то дома были вокруг, и у одного, под фонарем, стоял худой страшный человек в телогрейке, и, задрав лицо, выл по-волчьи.

— Молчи! — крикнул Иван, и человек сгинул — то ли убежал, то ли померещилось. Стоял мороз, с неба мохнато висел иней, раскачивались провода, шапка валялась под ногами, он поднял ее и надел, уши сразу защипало, тело все было как чужое — то ли его тело, то ли нет, то ли это во сне! Под фонарями лежала дорога и уходила куда-то в темноту. Куда идти? Куда дорога ведет!? Вдруг вспомнил — в лес, в сопки. «Как сюда попал?.. Вроде от Аннушки, в гости ходил... К кому ходил?.. А поди вспомни... То ли мужики какие-то встретились... А где ж тот, который волком выл?».

Из темноты вынырнула темная машина с будкой и помчалась вроде прямо на него, и Иван шатнулся, едва не упав, машина пронеслась и на перекрестке примолкла, он оглянулся — разворачивается темной мордой, и в ней не видно людей. Машина горбатой, набегающей вперед тенью налетела, завизжали тормоза, и из распахнувшейся дверцы выпрыгнул на снег милиционер и подхватил Ивана под мышки.

— Ты едрена мать, я япона мать, а вместе мы кто? — сказал ему Иван, взяв милиционера за пуговицу.

— У-у-у! И несет же от тебя! — сказал милиционер, легко подталкивая Ивана к дверям в будке. — Кто ж в такой мороз водку пьет, ведь замерзнуть же можно, черти, дьяволы, а потом спасай вас! Поехали-ка лучше к нам, поночуешь у нас культурненько, в тепле. Нечего ночью по морозу шастать!

— Поехали! — согласился Иван и подождал, пока милиционер откроет двери в будке.

Двери открылись и показались железные стены сплошь в курчавом мохнатом инее, а на полу лежал, сжавшись комком, человек без шапки, в драном пальтишке, сплошь заиндевелый, не понять даже — мертвый или живой. Сквозь иней на волосах желто светилась кожа.

Иван полез в будку, потом вспомнил и сказал:

— Стой! Человека забыли! Тут один на углу волком выл, тоскует человек!

— Заберем, батя, никого не пропустим! — пообещал милиционер, подталкивая Ивана внутрь и захлопывая за ним дверь. Иван послушно сел на скамью, привалившись к холодной стенке, с хрустом потревожив иней на ней, и машина тронулась, в зарешеченном оконце побежали тени столбов. Иван закивал головой в такт тряске, в голове царил бред и мешанина, и не спалось, а все что-то лезло. А столбы бежали, бежали, человек на полу принялся вдруг удушливо, с хрипами кашлять и, стало быть, — живой. Что-то металось и скакало в голове. Иван принялся бормотать, матерясь:

— Бомбу! Ишь ты, с-с-сукины дети! Бомбу на нас! Дьяволы, чем пугать вздумали! Чем вздумали пронять! Да тьфу на вас! У нас простору много, чуть что — разбежимся, и попробуй ты нас найди! Народ коммунизма дожидается, и потому ко всему равнодушный. А чтоб время скоротать — пьет!

Лежавший на полу пьяница заворочался, отдирая от железного пола примерзшие лохмотья, и встал на колени, вперив в Ивана безумный взгляд.

— Ты кто? — спросил он хрипло.

— Плотник я, — сказал Иван, — тридцать лет плотник.

— Плотник... А куда везут?

Пьяница смотрел на Ивана, не мигая, и видел ли — не понять.

— Спасают! — сказал ему Иван, и тот протянул, разом перестав дрожать и успокоившись: «А-а-а-а-а!».

Машину шатнуло на ухабе, пьяницу кинуло на Ивана, и он вцепился в Иваново пальто, лицом ткнувшись в воротник, и Иван придержал его, притиснул к себе, чтоб голову не расшиб человек о железо. И, ощущая голой щекой щетину на подбородке пьяницы, который часто и с хрипом дышал, прижимаясь к воротнику, веселея от внезапной мысли, закричал ему в ухо:

— Я, слышь, что говорю, слышь! Плевали мы на Америку, я те говорю, она нам — ничто!

— Верно! — пьяница поднял глаза, уперевшись ими в Ивана, и тоже как будто воодушевляясь, задрожал, задышал: — Верно... Одеколон пили? Пили. Политуру и лак жрали? Жрали? И живые! Живые! А Америка эта нам на один зуб!

Иван захохотал и крепче притиснул к себе товарища, чтоб теплее ему было, чтоб не так дрожал человек и не смотрел на столбы — столбы его почему-то пугали.

(Окончание. Начало в № 35.).